

### Глава 3. Детство

**Ш**ёл 1920 год. Гражданская война в основном закончилась, но положение в стране было очень тяжёлым. Мировая война, революция, гражданская война и, наконец, политика «военного коммунизма» разорили её. Глубочайший кризис охватил все стороны общественной жизни, промышленность, сельское хозяйство.

Продовольственная политика, с помощью которой из села было насильно выкачено более 300 миллионов пудов продовольствия, привела к повсеместному сокращению посевных площадей, свёртыванию скотоводства, прекращению посевов технических культур. Особенно тяжёлым было положение на Нижней Волге. Посевные площади за два предшествующих года сократились почти в три раза, поголовье лошадей - более чем в два раза, крупного рогатого скота - в три раза, коз, овец и свиней - в пять раз. Несмотря на это, за 1918 и 1919 годы из области немцев Поволжья было вывезено 30 миллионов пудов продовольствия.

К этим бедам в 1921 году добавилась засуха, охватившая хлебные районы Украины, Кавказа, Крыма, Приуралья, Поволжья. В результате в 1921-22 годах голодало около 40 губерний с 90-миллионным населением, из которого 40 млн. человек оказались на грани смерти. Умерли 5 млн. человек. В городах продукты распределялись в виде пайков, прежде всего среди рабочих. Пайки были мизерные и прожить на них было почти невозможно. В Москве, например, рабочим, занятым физическим трудом, они выдавались из расчета 225 г. хлеба, 7 г. мяса или рыбы, 10 г. сахара в день. Продукты на рынке были малодоступны. Цены, по сравнению с довоенными, возросли в 100-200 тысяч раз. Хозяйкам приходилось брать на базар или в лавку несколько миллионов, чтобы купить продукты, необходимые для обеденного стола. Заработка хватало на 3-5 таких походов. И опять-таки на Поволжье засуха и её последствия приняли особо катастрофические размеры и формы. С одной десятины земли собирали всего по 5,5 пудов пшеницы или 2,4 пудов ржи, при обычной для этих мест норме в 40 пудов. Но и в этом предельно неурожайном году из области по подразверстке вывезли 7 миллионов пудов зерна. Во многих хозяйствах забирали все подчистую, не оставляя зерна даже на посев.

В результате в 1921 году на Поволжье разразился страшный голод. Умерло без малого 48 тысяч колонистов. Более 80 тысяч бежало в другие районы страны и, в частности, на Кавказ. Но там их не приняли. Большинству пришлось возвращаться. Голодные и раздетые, многие из них так и остались на бескрайних дорогах России. На-

селение области сократилось с 452 тысяч человек в 1920 году до 359 тысяч к августу 1921 года. Подавляющее большинство из них голодало. Толпы беженцев, нищих и беспризорных русских, немцев, украинцев и цыган, наводнили железнодорожный вокзал, пристань и рынки Саратова. Несчастные колонисты, не знающие русского языка и стыдящиеся своего нищенства, робко стучались в двери соотечественников, которые, как правило, сами с трудом сводили концы с концами. По городу ездили специальные бригады, собиравшие на вокзалах, пристанях, скверах и улицах тела умерших. Их заворачивали в рогожу и увозили на подводах в неизвестном направлении. В тот год наша семья спасалась в основном овощами и фруктами из сада, а также козьим молоком. Коз, обычно двух, держали давно, еще с рождения Ромочки, так как у мамы не было молока, и все дети в семье выросли на козьем молоке.

В декабре месяце этого трагического для поволжских немцев года мне было назначено судьбой, родиться. Близилась Рождество (Вайнахтен) и Новый год. Но настроение в семье было далеко не праздничным. Недавно похоронили дядю Эдуарда. У Ляли двухстороннее воспаление легких и очень высокая температура. Когда меня, туго завёрнутого в пеленки, роды принимали дома, внесли и показали Ляле, она только и смогла сказать: «Фу, какой противный и красный!» Эрночка в это время была у Елены Ивановны Бефорт - дочери папиной двоюродной сестры. Звали её у нас иногда Лендия, но чаще - Ленхен. Была она на 9 лет старше Эрночки, что, впрочем, не мешало их дружеским отношениям. Наши родители в воспитании дочери во многом полагались на неё.

Воспоминания о первых годах жизни у меня смутные. К тому же трудно отделить то, что помнится непосредственно, от того, что мне рассказывали позже взрослые. Очень смутно помню, как меня, завёрнутого в простыню, выносили из жаркой ванной комнаты в прохладу спальни. Кто нёс меня, сколько мне было лет, не знаю, но ощущения, связанные с этой процедурой, живут во мне. Возможно, потому, что повторялась она изо дня в день на протяжении нескольких лет. Такие же смутные, даже не воспоминания, а ощущения, связаны у меня с утренними пробуждениями: в доме очень тихо и отчетливо слышно, как в голландках, которые протапливали до пробуждения детей, потрескивают дрова.

Ещё почему-то помню тихий зимний вечер, уличный фонарь, под которым стоят мои высокие плетёные санки, и рой медленно падающих снежинок. В свете фонаря они казались мне большими белыми мухами. Было мне тогда не более четырёх лет, так как к пяти годам этих санок, в которых возили только совсем маленьких ребя-

тишек, уже не было. Где это было, и кто был рядом, я не помню. Помню только ощущение покоя и тихой радости, которые в этот момент владели мной.

Много воспоминаний, связанных с огнём. Помню нашу кухню, где хозяйничала Лиза, а я, пристроившись рядом на стуле или сидя на корточках, глядел на пляшущие языки пламени и раскалённые угли. Помню пожар на нашей улице, суетящихся и плачущих людей, пожарных, у которых почему-то не работал насос, обрушившуюся кровлю и море бушующего огня. Помню, как в саду сжигали кучи сухих листьев, а они только дымили, и дым щипал мне глаза, но уходить не хотелось, хотелось огня.

Жили у нас в доме две собаки: тоненькая и изящная, как игрушка, Дези и ее щенок с прозаическим именем Тузик - толстый и неуклюжий, помесь породистой матери с какой-то дворнягой. Когда папа, приходя с работы, ложился на диван, Дези легко брала высоту и пристраивалась в ногах у хозяина. Тузик же, жалобно скуля и царапая лапами диван, никак не мог оторвать свой шарообразный живот от пола. Меня всегда возмущало, с каким равнодушием взирала Дези на своего неуклюжего сына, и я, естественно, спешил к нему на помощь. Жил у нас и кот, огромный и пушистый, но какой-то замкнутый и отрешённый. К собакам относился высокомерно, очень любил отца, меня избегал. Я же побаивался его и старался не трогать.

В те далёкие годы наш дом казался мне огромным. Целый мир с потаёнными, а иногда и страшными из-за господствовавшей в них темноты, местами. Недолюбливал я столовую, по-видимому, из-за необычности освещения, особенно в зимнее время, когда окно в потолке заносило снегом. Тогда в углах комнаты даже днем сгущались сумерки, и мне казалось, что там притаилось что-то черное и лохматое. В центре столовой стоял большой и тяжёлый дубовый стол. Вокруг него шесть таких же массивных стульев. Обедали обычно ближе к вечеру, после прихода отца со службы. У меня был высокий приставной стул, на котором, как рассказывала мама, я обычно засыпал сразу после первого блюда. Был у меня и трехколёсный велосипед, на котором я часами кружил по комнатам, обдирая задней осью косяки дверей и мебель. За это мне не раз доставалось от Лизы, особенно когда я пытался проехать по еще мокрому полу.

Вообще-то я был спокойным и послушным мальчиком, но любовь к опытам часто подводила меня. Однажды, как рассказывала мама, у нас в окна вставили какие-то бемские стекла, про которые стекольщик говорил, что они очень прочные. Естественно, что мне захотелось проверить справедливость его слов. Взяв свой детский молоток, я ударил им по стеклу одного из окон - и был крайне удив-

лен и испуган, когда стекло разлетелось мелкими кусочками. Поняв неизбежность наказания, я спрятался в платяном шкафу, но меня оттуда довольно быстро извлекли. За легкие провинности нас с Лялей обычно наказывали тем, что сажали на стулья и требовали сидеть спокойно. За более серьезные провинности ставили в угол, вернее, в углы, образуемые платяным шкафом и стеной. При этом наказание носило, как правило, коллективный характер. В данном же случае необычность и трагичность ситуации заключалась в том, что наказать должны были меня одного. Спасло заступничество Лизы, обвинившей в случившемся стекольщика:

– Незачем было говорить, что стекла крепкие, – сказала она, и заслонила меня от отца.

– Будем надеяться, что его дорогостоящие опыты когда-нибудь обогатят человечество, – произнес отец, нарочито сердитым голосом.

Говорить я начал, по воспоминаниям взрослых, поздно. Родители даже обращались к врачам. Только однажды, когда меня в возрасте около двух лет поздно вечером несли с остановки на дачу, я, показывая пальцем на луну, вдруг совершенно отчетливо произнес: «люна». Сколько потом меня ни просили повторить произнесённое слово, я упорно молчал. Заговорил я только к трем годам, притом на немецком языке, отчетливо произнося слова.

Ещё из воспоминаний старших. Когда мне было примерно 3-4 года, со мной было трудно ходить по улице. Где бы ни показывалась открытая калитка, я порывался её закрыть. Чем только ни пугали меня - и злой собакой, и злым дядей, который поймает и побьёт меня, - ничего не помогало. Чтобы успокоить меня, сопровождающим приходилось идти и закрывать калитку. Сначала прихоть мою терпели, считая её проявлением моей будущей хозяйственности. Но когда я в аналогичных условиях потребовал закрыть ворота, ситуация приняла конфликтный характер. Положение спас находившийся рядом дворник, который, посочувствовав матери и укоризненно глядя на меня, прикрыл злополучные ворота.

Когда мне исполнилось пять лет, начались «увлечения» девочками. Стоило мне увидеть идущую впереди девочку примерно моего возраста, как я пристраивался к ней и, заглядывая в лицо, шел рядом. Однажды, по воспоминаниям мамы, я пристроился к девочке с огромным бантом на голове. Мама решила проверить, как далеко зайдут мои «ухаживания», и отпустила руку, которую я настойчиво пытался высвободить. Я прошел почти квартал рядом с незнакомкой и её матерью и успокоился только тогда, когда потрогал её пышный бант.

Конечно, наиболее яркие воспоминания детства связаны с садом, в котором мы с Лялей и мамой жили с ранней весны до поздней осени. В не дачный сезон, когда семья находилась в городе, большую часть времени мне приходилось проводить либо дома, либо во дворе, в котором, несмотря на его небольшие размеры, всегда можно было найти много интересного и неисследованного. Чего, например, стоили козы, жившие в отгороженном металлической сеткой загоне между домом и дровяником. Когда я подходил к изгороди, Манька, комолая бородатая коза, очевидно, ждавшая от меня какую-нибудь каверзу, начинала бодать сетку. При этом две её большие серёжки болтались, как колокольчики. Вторая коза, прозвища которой я теперь не помню, рогатая и величественная, наблюдала за своей беспокойной и неуравновешенной товаркой. Мне это несоответствие долгое время не давало покоя. Объяснение Лизы, что «бодливой козе бог рога не даёт», именно так на ломаном русском произносила она поговорку, хотя и доказывало мудрость всевышнего, но меня почему-то не устраивало, и я решил, что всё дело в серёжках, ведь у рогатой козы их не было (или почти не было). Мой наивный вопрос: «Что будет, если у Маньки отрезать серёжки, не станет ли она добрее», - поверг родителей в ужас. В доме спрятали ножницы, а со мной провели воспитательную беседу, пробудившую во мне чувство страшной вины перед безрогим и поэтому беззащитным живым существом. Однако это существо мешало мне добраться до лестницы, ведущей на заветный чердак. Лестница стояла прямо перед окном родительской спальни, и отец по утрам заставлял Лялю считать перекладины на ней. Но путь к лестнице лежал через загон, где находились козы. В этот момент их желтые глаза с продолговатыми зелеными зрачками казались мне особенно злыми и коварными. А потом вечером, молясь, я просил у Бога прощения за плохие мысли.

Были во дворе и другие достопримечательности, например куры. Моя попытка догнать одну из них, чуть было не закончилась для меня трагично. Ревниво наблюдавший за мной петух встряхнулся, взлетел мне на голову и клюнул в лицо всего в сантиметре от глаза. С залитым кровью лицом и ревом прибежал я домой, а петух, злобный нрав которого был хорошо известен всем жителям двора, попал в суп.

Мы с Лялей и наши болезни доставляли родителям много хлопот, и всё же, как я теперь понимаю, основной проблемой семьи в ту пору была Эрnochка - её образование и не столь отдалённая перспектива замужества.

В первые годы советской власти в Саратове в области народного образования царил полная неразбериха. Некоторые гимназии, и в первую очередь частные, были закрыты. Другие преобразованы в общеобразовательные школы. В 1918 году был принят закон «о единой трудовой школе РСФСР», в соответствии с которым создавалась единая трудовая 9-летняя школа, разделённая на первую (5 лет) и вторую (4 года) ступени. В школах насаждался так называемый метод проектов. Эрночка, более или менее благополучно пережив все эти преобразования, закончила школу в 1922 году в возрасте 16 лет. Вскоре она поступила в Саратовскую консерваторию им. Собинова по классу фортепьяно. Её музыкальные занятия дома усилились. По вечерам мы с Лялей, как правило, засыпали под музыку Шопена, Шуберта или Бетховена.

Эрночка была способной девушкой. Помимо музыки, она увлекалась рисованием, писала стихи, и это у неё неплохо получалось. Была она эмоциональной и увлекающейся натурой. Всегда у неё должна была быть личность для обожания. Сначала это были учителя, например, известный в те годы в Саратове учитель математики итальянец Бутамо, в которого были влюблены все девочки старших классов. Потом появились мальчики и, наконец, молодые люди, такие, как Саша Пьязук, Яша Квятковский, Бруно Штауб, Артур Альтерот. Почти все близкие родственники и католики. Родители забеспокоились и серьезно предупредили Ленхен.

В 1923 году, когда Эрночке исполнилось 17 лет, она стала дружить с братом одной из своих школьных подруг - Сашей Леманом, сыном известного в Саратове врача. Но Саша был из лютеранской семьи, и это оказалось непреодолимой преградой к их сближению. Родители решили, во что бы-то ни стало помешать их дружбе, что опять-таки было поручено Ленхен. Да и папа осторожно поспособствовал этому разрыву. Помог этому и перевод из Астрахани в Саратов известного в католической церкви служителя культа, патера Баумтрог. С ним приехали два молодых человека лет двадцати: Иосиф Гартман и Адам Гааг. Последний, хорошо воспитанный, красивый и к тому же способный певец, быстро заполнил образовавшуюся пустоту в сердце Эрночки. Но вскоре выяснилось, что эти два человека, хотя и происходили из богатых крестьянских семей, теперь, после раскулачивания их родителей, были бедны и находились у патера на полном содержании. Это тоже не устраивало моих родителей. Эрночке запретили ходить на церковные спевки, где по вечерам встречалась молодежь.

Опять заботы и переживания. На их фоне тускнели проблемы младших членов семьи. Лишь бы были здоровы, сыты, обуты, одеты

и выполняли свои простые повседневные обязанности. В свою очередь нас с Лялей мало интересовали Эрночкины проблемы. Правда, нам нравилось, когда у нас по вечерам собиралась молодежь. Смех, музыка, пение, танцы, а иногда и чай с пирожными. Мы с Лялей старались максимально использовать ситуацию, но иногда перебарщивали, и тогда нас уводили в детскую и укладывали спать. Было очень обидно, и мы долго выясняли, кто из нас двоих виноват в случившемся: я или Ляля.

К этому времени, благодаря введению Нэпа, жизнь в стране начала заметно улучшаться. Замена продразверстки продналогом, разрешение частной торговли и даже частного производства в пищевой и кустарной промышленности, денежная реформа 1922-24 годов, в соответствии с которой был введен в обращение советский червонец («золотой рубль») по золотому содержанию эквивалентный дореволюционной 10-рублевой монете, оживили производство и торговлю. Крестьяне, получившие экономическую свободу, быстро заполнили городской рынок дешевой сельскохозяйственной продукцией, появились товары легкой промышленности. Советский червонец стал цениться на мировом рынке выше английского фунта стерлингов и равнялся 5 долларам США.

В республике Немцев Поволжья отношение к коллективизации было неоднозначным. Тяга многих немцев к социализму известна. Немцами были не только Фридрих Барбаросса и Фридрих Великий, но и Фридрих Энгельс. Простые немцы тоже тянулись к социалистическим идеалам. Первые колхозы и коммуны в немецком Поволжье стали создаваться еще в 1918-19 годах. К 1921 году их насчитывалось больше сотни. Несмотря на это в период НЭПа большинство колхозов и коммун, не выдержав конкуренции, распалось. Появилось много крепких зажиточных хозяйств. Особенно бурно стало развиваться животноводство. В Поволжье лучше всего акклиматизировался крупный рогатый скот. Но любимой отраслью было свиноводство. В 1925 году началось строительство крупной беконной фабрики в Покровске, продукция которой предназначалась на экспорт. В республике было множество сыроварен и маслобоен, на которых производились высококачественные сыры (бакштейн, голландский), три вида масла (французское, русское, сладко-сливочное), которые через Центросоюз шли на экспорт, а также поступали в другие регионы страны. Стихийно, без нажима государства создавались сельские товарищества, среди которых были кредитные, сельхозкооперативные, по совместной обработке земли, мелиоративные, машинные, семенные, садово-огородные, по обработке сахарной свёклы, маслодельные артели и т. д. В сельских районах развивалась мелкая,

кустарного типа промышленность. По данным переписи 1923 г., государственных предприятий в немецкой области имелось 63, кооперативных - 6, частных - 242.

В эти годы облик Саратова, как и облик многих других городов страны, стал быстро меняться. Открылось большое число частных магазинов, магазинчиков и лавок, ресторанов, столовых и чайных. Вновь появилась прослойка богатых людей - нэпманов. Ограниченные в возможностях расширения производства и со дня на день ожидающие экспроприации, о которой постоянно писали газеты, они старались в свое удовольствие использовать выделенное им историей время. Многие из них вели себя, по меньшей мере, неосмотрительно: кутили и развлекались на виду у всех. Все это вызывало недовольство НЭПом широких слоев населения. Многие с ненавистью говорили о «подпольных миллионерах». Характерно в этом отношении письмо коммуниста П. Муравьева, опубликованное в «Торгово-промышленной газете»: «Во время «военного коммунизма» жилось тяжело, мучил голод, мучил холод, даже мороженный картофель считался редким экзотическим фруктом. Но самый остов, самый костяк существовавшего в 1918-1920 годах строя был прекрасным, был действительно коммунистическим. Все было национализировано, частная собственность вытравлена, частный капитал уничтожен, значение денег сведено к нулю, а вместо торговли по капиталистическому образцу - в принципе равное для всех распределение. Мы осуществили строй, намеченный Марксом...». Такой взгляд на НЭП разделялся многими. Психология уравниательства: пусть в бедности, но зато все равны - становилась господствующей.

Осенью 1924 года по приглашению патера Баумтрога, с которым мой отец был очень дружен, в Саратов приехал Станислав Иванович Гоздек - поляк, католик, кандидат наук, преподававший физику в одном из вузов Астрахани. Единственный сын нэпмана, владельца ювелирного магазина, Станислав Иванович казался нашим родителям весьма перспективным женихом. Основной недостаток - он был на 10 лет старше Эрночки. Знакомство состоялось в нашем доме в присутствии патера. Затем последовало несколько встреч, после которых Станислав Иванович вернулся в Астрахань с надеждой на успех. Зимой во время каникул он опять приехал в Саратов, где и состоялась помолвка молодых. Чувствуя себя полностью в роли жениха, Гоздек уехал домой в Астрахань. Эрночка же продолжала свое музыкальное образование. На фотографии тех лет она выглядит весьма романтично.

Станислава Ивановича я помню весьма смутно. Что-то очень правильное и изысканное, приглашенное. С его появлением в доме



как-то сразу все притихло. Закончились вечеринки, смех и пение. Зато с каждым его появлением дом заполнялся цветами, а нам с Лялей неизменно доставались шоколад и пирожные. За это время Эрночка получила немало дорогих подарков: золотые часики, цепочки, браслеты и т.д. Но сама она как-то потускнела, стала реже играть. Все больше читала толстые книги или сидела задумчиво у окна.

Когда зимой 1926 года Станислав Иванович в очередной раз приехал в Саратов, по-видимому, для окончательного оформления своих отношений с невестой, Эрночка расплакалась, закатила истерику и заставила Ленхен и папу отнести все подарки на вокзал к отходу астраханского поезда, на котором Гоздек должен был ехать домой.



*г. Саратов. 1925 год.  
Эрночка, ей 19 лет*

Целую неделю в доме царил траур. Родители были страшно расстроены. Эрночка отказывалась дать какие-либо объяснения. Как вспоминала Ленхен, она стала неузнаваемой, возбуждённой, склонной к приступам истерии. Лишь на склоне лет, в Здвинске, Эрночка призналась мне, что последним толчком к разрыву с Гоздеком послужила вольность, которую он позволил себе в отношении к ней.

Прошло несколько месяцев, и на горизонте нашей семьи появился Петя - Петр Варфоломеевич Гунгер, студент первого курса немецкого отделения Саратовского университета. Был он полной противоположностью Гоздека. Материально плохо обеспеченный, небрежно одетый, несколько угрюмый, резкий в суждениях и порой нарочито грубоватый. Его отец крестьянствовал в селе Мариенталь и имел свое маленькое хозяйство: корову и пару лошадей. Кроме Пети, в семье был еще один сын - Иоганн и две дочери: Текла и Лидия. Все значительно моложе Пети. Их мать умерла в 1920 году.

Петя и Эрночка! Совершенно разные характеры, разное воспитание, разные привычки и интересы, разная среда. И все-таки их пути пересеклись. Пересеклись в квартире Ленхен Бефорт. Вот как описывает свое знакомство с Эрночкой и дальнейшее развитие событий сам Петя. Познакомился он с Ленхен на подготовительных курсах. Несколько раз бывал у неё дома по Часовой улице. Жила она в это время у брата - богатого нэпмана, производившего и торговавшего кондитерскими изделиями. У них всегда было богатейшее уго-

щение, что для бедного студента было немаловажно. В 1925-26 учебном году он, уже став студентом Университета, часто заходил к ней в гости. Во время одного из таких посещений он впервые увидел Эрночку. Она сидела за столом с журналом «Огонёк» в руках. После краткого представления и длительного ужина вечер протекал в разгадывании кроссворда из журнала и чтении есенинских стихов, тогда очень модных. Поздно вечером Петя с Ленхен проводили Эрночку домой, но заходить к нам он отказался. Их новая встреча состоялась лишь через месяц и опять у Бефуртов.

Весной 1927 года Петя на несколько дней ездил домой в Мариенталь, с которым, по его признанию, его связывали не только семейные узы. С тяжелым сердцем и в крайне подавленном настроении он вернулся в Саратов и домой больше не ездил. Теперь встречи с Эрночкой стали чаще. Половодье на Волге, совместное катание на лодке. Случилось так, что, прыгая с лодки, Эрночка упала в воду. Мокрую по грудь, он проводил её к себе на квартиру по Малой Сергиевской, недалеко от Волги. Пока Эрночка обсыхала, он сходил за билетами в кинотеатр «Зеркало жизни». С тех пор, по его словам, он начал ухаживать за ней.

После второго посещения Петей нашего дома родители забеспокоились, особенно мама, которая сразу почувствовала неладное. Ни ей, ни папе Петя не понравился. Мысль о том, что Эрночка может увлечься этим угрюмым, малоразговорчивым и резким в суждениях молодым человеком, приводила их в ужас. А опасность эта была реальной, ибо здесь пересеклись романтика, поиск сильного характера, а также повсеместное увлечение гимназисток «парнями от станка». Единственное, что родителям нравилось в Пете, так это его католическое вероисповедание. Со своей стороны Петя был не в восторге от нашей семьи, расценивая наш уклад жизни как мещанский.

Летом 1927 года Петя работал в военных лагерях 32-ой дивизии, дислоцированной в районе железнодорожной станции «Татищево», второй станции после «Поливановки», где находилась наша дача. В воскресные дни он приезжал сюда и ближе познакомился с остальными членами семьи. На даче всегда было много работы, особенно физической, что, по его признанию, было как раз по нему. Поездки его стали почти регулярными.

Осенью, после окончания службы в лагерях, Петя устроился на работу в статуправлении немреспублики. Платили там хорошо, но приходилось много ездить по селам Поволжья. Заработав приличную сумму, он вернулся в Саратов. Заходил к нам. Эрночка, к тому времени, уже успела создать в семье терпимую обстановку. Тогда же было решено, что ему следовало бы приличнее одеться. Мама ходи-

ла с ним в магазин «Бэндера», и его летние заработки почти полностью ушли на покупки. Серый костюм, коричневое демисезонное пальто, брюки, рубашки, бельё перекочевали из магазина в его студенческую комнату. Да и в самой комнате кое-что было преобразовано. Теперь он охотнее приглашал к себе, чем ходил к нам. «Что-то меня не тянуло туда, - вспоминал Петя, - и общество, и этикет были мне чужды. Лишь на следующий год, после моей существенной помощи в саду и содействии Эрночке в поступлении на литературное отделение Университета, мои отношения с семьей Майерских значительно улучшились, и я постепенно примирился с более частыми посещениями Эрночки на дому».

Все эти события, конечно, проходили мимо моего детского сознания. Тем более, что они не связывались в моей памяти, как в случае с Гоздеком, ни с подарками, ни с угощениями. Более того, Петя никогда даже не пытался расположить нас с Лялей к себе. Не играл с нами, не обсуждал наши многочисленные детские проблемы. Как выяснилось позже, его раздражали принятые в нашей семье методы воспитания детей, отсутствие необходимой, на его взгляд, жесткости к нам, постоянное «сюсюканье». Не нравилось ему, что за обеденным столом сидят и взрослые и дети, причем последние, то есть мы с Лялей, позволяем себе вмешиваться в разговор старших. По его мнению, детей следовало кормить отдельно. Раздражало его и то, что каждый вечер Эрночка должна была играть нам что-нибудь перед сном из серьезной музыки. И хотя сам он любил петь и пел неплохо, но признавал только народные немецкие песни, в которых знал толк. Классическую же музыку недолюбливал.

Самые приятные и радостные воспоминания у меня связаны с летом. Ранней весной всех нас: детей, коз, собак и кошку - вывозили на дачу, в сад. В те годы он казался мне бескрайним. В нем было столько неисследованных и таинственных уголков, что выходить за его пределы даже не приходило в голову, тем более, что, кроме полей пшеницы, снаружи ничего не было.

Кроме того, в саду всегда было много работы, даже нам с Лялей, самым молодым членам семьи. Каждое утро мы с ней собирали падалицы и носили их на террасу. Привлекали нас и к поливке деревьев, для чего от колодца прокладывались длинные деревянные желоба, и нашей задачей было следить за тем, чтобы вода, которую из колодца черпал отец, доходила до дерева. Мы с Лялей старались вовсю, не упуская и свои собственные интересы: пускали бумажные кораблики, устраивали в желобах запруды, прокапывали канавки в земляном вале, окружающем дерево, и наблюдали за тем, как вытекающая вода размывает сделанный нами проход. Но с этим родите-

ли мирились, считая, что приучают нас к труду. Чего не выносил отец, и за что нам чаще всего попадало, так эта за брошенный в сад огрызок или надкушенное яблоко.

Жилось нам на даче хорошо: фрукты и ягоды самых различных сортов, мёд, козье молоко. Ко всему этому каравай пышного филипповского белого хлеба, который отец привозил ежедневно из города. Единственным неудобством было то, что в саду не выращивали никаких овощей: ни картофеля, ни капусты, ни моркови, ни огурцов, ни помидор. Все эти овощи, как и другие продукты, приходилось привозить из города. Исключение из этого правила, как вспоминала Эрночка, отец допустил только в голодные (1921-22) годы. В обычное же время о посадке овощей в саду отец и слышать не хотел, считая, что от них заводятся вредители, на борьбу с которыми он тратил много времени и сил. Весь сад два раза в год пропалывался, а под яблонями перекапывался, фруктовые деревья и сирень опрыскивались какими-то растворами, над которыми колдовал отец. Для этих целей у него был специальный ранцевый распылитель, к которому нас и близко не подпускали, хотя лично мне очень хотелось подержать ручку насоса или постоять под искусственным дождем, в котором так красиво сверкали кусочки радуги.

Реже всего мы заходили в верхнюю часть сада, где хозяйничали пчёлы, особенно после того, как однажды за завтраком Ляля, откусывая намазанную мёдом булку, прихватила губами пчелу, сидевшую на её нижней стороне. Трудно передать крики и панику, начавшуюся за столом. Сначала не могли понять, что случилось. Губа быстро распухла, и Ляле было, наверное, очень больно. Папины объяснения, что пчела защищалась и ей ещё больнее, т.к. вместе с жалом у нее вырваны внутренности, Лялю мало успокаивали. Потихоньку от отца она стала мстить пчелам, используя для этого все подручные средства.

Помню, как осенью качали мёд. Для этого в летней бане устанавливалась специальная бочка с центрифугой внутри, в которую, в свою очередь, вставлялись рамки с сотами. Сверху была ручка, приводившая систему в движение. Центрифуга вращалась, и из сот вытекал жидкий, янтарный мёд, который, скапливаясь на дне бочки, вытекал через небольшое отверстие в подставленную под бочкой посуду. Когда качали мед, внутри бани стояла круговерть медовых ароматов, а за её стенами - море злых-презлых пчел, которые держали в осаде не только баню, но и весь сад. Мы в такие дни боялись высунуть нос наружу и сидели в комнате, плотно закрыв двери, окна и форточки.

В обычные же дни по пчельнику можно было ходить без особого опасения. Нужно было только слушаться отца и не делать резких движений. У нас дома была фотография, где вся семья расположилась между ульями, правда, в несколько напряжённых позах. Нет только Ляли. Ее нельзя было туда заманить никакими коврижками.

Помню еще, как отец отлавливал рой. Длинный шест, на конце которого подвешен кулек, сделанный из бересты. Он подводил его подо что-то висящее на высоком дереве, не то вязе, не то клене, и похожее на потревоженный муравейник. Отец очень боялся, что рой улетит за пределы сада. Я же не мог понять, как пчёлы, слипшиеся в такую кучу, смогут лететь, почему при этом не упадут на землю.

Зелёная изгородь, опоясывающая сад, со временем разрослась и образовала своеобразную, очень узкую, не более трёх-четырёх метров ширины защитную лесополосу, которая отгораживала сад от внешнего мира. В этой лесополосе, мы называли её «лесочком», даже в самый жаркий день было прохладно и сыро. Туда мы с Лялей ходили собирать грибы, обычно недалеко от входных ворот. Но однажды увлеклись и ушли (двигаясь по периметру сада) дальше обычного. И хотя между стволами деревьев нетрудно было разглядеть дачу, нам стало страшно. И тут мы увидели настоящую змею. Она лежала, растянувшись во всю длину, и почему-то не двигалась. На наши отчаянные крики первой прибежала Дези. Она встала в отдалении и начала лаять. Вслед за ней прибежал Тузик, ткнулся носом, но быстро отскочил. Потом появились взрослые, и хотя они авторитетно заявили, что это всего-навсего безобидный уж, к тому же и мёртвый, мы с Лялей до конца лета уже не решались в одиночку отправляться в столь рискованные путешествия.

Помню, однажды ночью я проснулся от страшной грозы. Вспышки молний и раскаты грома непрерывно следовали друг за другом. Дача сотрясалась от порывов ветра, и дождь хлестал по стеклам. Казалось, что мы находимся в центре ада, а кругом, на много вёрст, ни души. Отец с матерью, преклонив колени у распятия, молились. В этот момент я впервые осознал, что отец не всесилен. Страх одиночества и незащитности охватил меня и заставил с головой зарыться в подушки. Утром в саду были лужи, сломанные ветки деревьев, разбросанные яблоки, прибитые к земле цветы, а по небу неслись клочья серых и низких облаков. Настроение у всех было плохое, и даже появившийся на террасе Тузик не вилял, как обычно при встрече с нами, своим куцым хвостиком.

В детстве я любил играть в индейцев. У меня был хороший лук и колчан со стрелами. В укромном месте сада (чаще в малиннике) я строил вигвам. Затем, «выходя на тропу войны», раздевался (иногда

до гола), втыкал в волосы перья и с гиканьем носился за воображаемыми врагами. Мои раздевания, которые, как мне помнится, были подражанием одной из литографий, увиденных в какой-то из отцовских книжек, были быстро пресечены бдительными родителями. Запретили мне и строительство «вигвамов» в зарослях малины, где меня, якобы, было трудно найти. Но однажды меня все-таки потеряли. Искали все, - и хозяева, и гости. Искали даже в колодце, хотя он и был закрыт крышкой, запиравшейся на замок. Паника была страшной. Нашёл меня уже под вечер вернувшийся из города отец. Нашёл сладко спящим под густым кустом винограда.

На даче у нас постоянно кто-либо гостил: родные, знакомые или знакомые знакомых. Уезжали, нагруженные фруктами и цветами. На



*г. Саратов. 1926 г.*

*Часть нашего сада. Ель голубая. На переднем плане я с Лялей. На втором - мама, папа, тётя Матильда, Эрночка, Лиза* фотографии, сделанной летом 1927 года, виден кусочек дачи и виноградник.

Более отчетливые воспоминания начинаются где-то с шестилетнего возраста. Многие из них связаны с религиозными обрядами. Сейчас я не столь наивен, что бы верить в Бога. Но не такими были мои детские представления. Воспитывали нас в вере, строго соблюдая все католические обряды. Обязательными были утренние и особенно вечерние молитвы, в которых нужно было, перебирая в памяти события минувшего дня, вспомнить обо всех своих больших и ма-

лых прегрешениях. Привычка подводить итоги прожитого дня сохранилась до сих пор. Церковь мы посещали обычно по воскресеньям, всей семьёй. Смысл проповедей я понимал плохо, да и не это меня интересовало. Сильное впечатление производила общая обстанов-



*г. Саратов. 1926 год.*

*На переднем плане - я, Лялина подружка и Ляля. Между нами, задрав лапки, вертится Дези. На втором плане - Ленди Бефорт, её на фотографии почему-то отрезали, Петя, Эрночка, мама (ей уже 54 года), за ней - Лиза, затем какие-то мамини знакомые и, наконец, совсем справа, в кустах виноградника, - папочка (ему 59 лет)*

ка, яркость красок, торжественность службы, пение хора, которому часто аккомпанировала Эрночка, и атмосфера чего-то возвышенного, чистого и искреннего, от чего мне хотелось плакать и признаваться во всех своих детских грехах. Священник этой церкви, патер Баумтрог, часто навещал нашу семью. Был он образованным человеком и очень добрым. Озабоченный судьбой своей паствы, патер, вообще-то уже пожилой и не очень здоровый человек, преследуемый к тому же властями за свою религиозную деятельность, тащился через весь город на окраины Саратова к какой-нибудь фрау Берте, чтобы словами утешения, советом, а иногда и материально помочь её бедствующей семье. В тридцатые годы его вместе с сотнями других служителей культа арестовали и заключили в концентрационный лагерь. Там он и погиб. В годы моего детства он часто беседовал с

моим отцом. О чем? Я, конечно, не знаю, ведь я тогда был еще очень мал, но помню, что они часто играли в шахматы, а я, стоя рядом, разглядывал красивые, выточенные из слоновой кости и, как говорила мама, очень дорогие фигурки. Беседовал он и со мной. О Боге, родителях, честности, благородстве, сострадании.

Хорошо помню, как однажды, было мне тогда лет шесть, я вместе с какими-то другими мальчиками прислуживал патеру. Церковь была полна. Люди сидели на длинных скамьях, преклонив колени, с молитвенниками в руках. Перед ними мерцали теплыми огоньками свечи. На каменных плитах пола лежали цветные солнечные блики. Пел хор. Было радостно и страшно. Страшно оттого, что рядом нет ни мамы, ни папы, что они где-то там, среди этих чужих людей, а на мне какая-то необычная, длинная одежда и все, как мне казалось, смотрят на меня, и делаю я не то, что нужно, и некому защитить меня. К тому же и патер какой-то незнакомый, торжественный и отрешённый. Вечером у меня был нервный приступ. Больше я в церковной службе участия не принимал.

Религиозная тематика присутствует и во многих других воспоминаниях. Детская, у кровати на стене распятие. Сколько раз, стоя на коленях и глядя на склоненную голову распятого Христа, я произносил слова детской молитвы: *Fater unser, der du bist im Himmel*. В столовой две картины. На одной, овальной формы, изображена голова Иисуса Христа в терновом венке. Из-под острых шипов сочатся капли крови. До сих пор помню одухотворенное лицо и скорбный, всепрощающий и все понимающий взгляд Христа. Вторая - полная противоположность первой. Тёплый, солнечный день. Иисус стучит в закрытую дверь. На нем синие ниспадающие одежды, что-то вроде накидки или халата, на ногах сандалии, в руках посох. Откуда пришёл он, к кому стучится, что ожидает его за этой дверью? Пронизывающий свет, исходящий от картины, яркие краски успокаивают, и рождается уверенность, что все будет хорошо. И снова взгляд притягивает терновый венок, страдание, которым пронизана первая из этих картин.

Гостиная... С ней у меня связаны, прежде всего, воспоминания о рождественских праздниках. Помню, как в Сочельник закрывалась тяжёлая, с большими медными ручками, дверь, ведущая из столовой в гостиную, и мы с Лялей пытались разглядеть в щель между дверью и полом, что там происходит. Потом хлопали двери, ведущие в прихожую, в щель устремлялись струи холодного воздуха, слышались приглушённые, совсем незнакомые голоса, шорохи и снова тишина - медленно, очень медленно текло время. Синели стекла в фонаре на потолке, сгущались сумерки. И, наконец, дверь открывалась! В пра-



вом углу гостиной, между окном и фортепьяно - величественная, во всю высоту комнаты ёлка, украшенная игрушками и сверкающая настоящими, живыми огнями свечей, а это совсем не то, что используемые теперь мёртвые, хотя и разноцветные огни электрических лампочек. После первых восклицаний и длительной паузы молчаливого восхищения раздавался тихий стук в дверь. Это Дед Мороз и Снегурочка, но не та Снегурочка, к которой мы все сейчас привыкли, а нежный, с крыльями ангел в полумаске и с плетёной, красиво украшенной корзинкой в руках. В корзинке подарки. Но не они привлекали мое внимание. Ангел, живой ангел в нашей комнате, к нему можно прикоснуться! А эти прозрачные, с блёстками крылья! Много позже, уже после смерти отца, когда не стало не только личных Дедов Морозов и ангелов, но и рождественских ёлок вообще, я узнал, что роль ангела играла Ленхен. Это было для меня большим разочарованием, завершающим ударом по вере. А тогда, глядя на божественное создание, я трепетал и, конечно, забывал стихи, которые заранее готовил.

К числу достаточно отчётливых воспоминаний детства я бы отнёс воспоминания от поездок на юг. При жизни отца, т.е. до 1928 года, их у меня было по крайней мере три: одна на Кавказ, в Туапсе, и две в Крым - в Феодосию и Сарыголь. Естественно, что лучше других мне запомнилась последняя из них, хотя не исключено, что в памяти моей произошли некоторые неизбежные в таких случаях накладки. Выехали мы из Саратова втроём: мама, Ляля и я. Папа был занят на работе и должен был присоединиться к нам позже. Эрночка не могла прервать занятия в консерватории, да и ехать с нами ей, наверное, не очень хотелось, ведь ей было уже 22 года, и она дружила с Петей. В поезде мы занимали отдельное купе, на середине которого стояла большая плетёная корзина в форме сундука. Эта корзина, в которой мама возила с собой все постельные принадлежности, сопровождала нас во всех дальних поездках, ибо, как вы уже, наверное, поняли, в поездах в те времена постельное бельё не выдавали. Не было в поезде и вагона-ресторана. Поэтому готовили еду прямо в купе. Для этого у нас была привезённая родителями из Германии походная спиртовая плитка - предмет моего постоянного интереса. Устроена она была, на первый взгляд, совсем просто: длинная трубка, на одном конце которой укреплен блестящий шар, а на другом - горелка. Все это сооружение покоилось на длинной металлической подставке, закрываемой сверху футляром с ручкой.

Начиная готовить, мама, прежде всего, запирала купе, потом наливала в шар спирт и зажигала горелку. Хотя на футляре красивым готическим шрифтом гарантировалась безопасность, меня предва-

рительно отсаживали в дальний угол купе. И эта отстраненность от живого, трепещущего огня, очень огорчала. Мысленно я совал в пламя горелки все, что, на мой взгляд, могло гореть, но, как говорила Лиза, «бодливой козе бог рога не дал». В перерывах, пока чудо-плитка, запёртая в футляр, находилась в корзине, я обычно сидел у окна и любовался проносящимися мимо картинами. Поля, наливающиеся сочной зеленью; берёзовые перелески; будки стрелочников; сами стрелочники, флажками приветствующие наш поезд; переплёты моста, усыпанные заклепками, и снова поля. Смотреть я любил вперед по ходу поезда, что позволяло иногда увидеть голову состава. Особенно поражало и захватывало меня зрелище паровоза, идущего на подъём: натужено пыхтя и напрягаясь, он выбрасывал из своего нутра снопы искр, которые, смешиваясь с клубами черного дыма, проносились мимо окна, и тогда казалось, что поезд, удесятеляя свой бег, устремляется в чёрную бездну. Купе мгновенно наполнялось дымом и гарью. Мама с лялиной помощью поднимала оконную раму, обрекая нас на удушливую жару вагона. Но через некоторое время от тряски и, конечно, не без моей незаметной для матери помощи рама вновь опускалась вниз.

Вообще с этими вагонными окнами у меня связаны довольно странные воспоминания. Меня, например, очень удивляло, почему перед въездом в туннель проводники очень строго приказывали всем пассажирам плотно закрывать окна. Сначала я подумал, что все дело в дыме, который заполнял весь туннель, когда по нему проходил поезд. Однако, вспомнив, что проводники требуют закрывать окна и при въезде на большие мосты, решил, что делается это для того, чтобы кто-нибудь из пассажиров не бросил в окно бомбу. Но ведь тогда погибнет и сам пассажир, зачем ему все это делать. Не находя ответа на мучивший меня вопрос, я хотел обратиться к проводнику, но мама строго-настрого запретила мне задавать кому-либо такие дурацкие, как она выразилась, вопросы и предупредила, что за них её и папу могут посадить в тюрьму, и мы с Лялей останемся совсем одни и умрем с голода. Это предупреждение почему-то сильно подействовало на меня, и я потом мысленно неоднократно возвращался к нему, представляя себе тюремную решётку и скрытые за ней лица отца и матери. Это был первый рубец в моем детском сознании, рубец страха перед всевластием государства.

Море, неизменно оказывавшее на меня огромное впечатление, и на этот раз заслонило в моей памяти большинство событий той поры. Смотреть на него я мог часами. Его вид рождал во мне сладостное чувство свободы и чего-то еще, что я теперь назвал бы духовным раскрепощением. Это чувство охватывает меня и теперь каж-

дый раз, когда из-за поворота дороги впервые открывается бескрайний простор моря.

Жили мы в частном доме совсем недалеко от моря. Помню большую прохладную комнату с закрытыми ставнями, в щели которых пробивались раскалённые лучи солнца с пляшущими в них пылинками. Всегда свежевывытый пол и очень высокое крыльцо, крутые ступени которого вели в небольшой садик, усаженный цветами. С этим крыльцом связано еще одно воспоминание: мы сидим за столом и завтракаем. Ляля поднимается, выходит на крыльцо и тайком, чтобы не заметила мама, выбрасывает из яйца столь не любимый ею желток. И чуть не попадает в отца, только что приехавшего к нам из Саратова.

Помню бухту, глубоко врезающуюся в скалистый берег; песчаную, усыпанную ракушками отмель и обломок скалы, выступающий из воды при выходе из бухты. Помню жаркое солнце, пронзительную синеву моря и пустынный пляж, где небольшими группами расположились не более полусотни отдыхающих. На берегу, поодаль, базар, где можно было купить разную мелочь, в том числе напитков со странным названием «Буза». Его нам с Лялей очень хотелось попробовать, но мама даже мысли такой не допускала.

А теперь самые страшные, самые печальные воспоминания моего детства. Уже на юге папа почувствовал себя плохо. Слабость, потеря аппетита, по вечерам небольшая температура. В Саратов вернулись раньше обычного, примерно к середине августа. Но и здесь здоровье его продолжало ухудшаться. Вскоре папочку положили в железнодорожную больницу. От чего его только не лечили, но процесс остановить не могли. По утрам температура падала ниже 36 градусов, а вечером поднималась выше сорока. И так изо дня в день, на протяжении почти трёх месяцев. Все это время Эрночка с мамой, сменяя друг друга, дежурили у его постели. Несколько раз собирався консилиум врачей, но только в ноябре сумели наконец поставить диагноз: особый вид заражения крови - пиэмия. Лекарств против этой болезни в России не было. Их прислал дядя Роберт из Германии, но было уже поздно, слишком далеко зашла болезнь.

В начале декабря 1928 года, как безнадежного, его выписали из больницы и привезли домой. Положили в детской - самой светлой из комнат дома. Помню, как я со страхом и даже ужасом вошел в эту превращенную теперь в больничную палату, а некогда светлую и радостную комнату. Кровать отца стояла несколько наискосок в дальнем углу комнаты. У изголовья тумбочка. На тумбочке пузырьки с приклеенными к ним продолговатыми полосками бумаги, на которых неразборчивым почерком были написаны рецепты, порошки, знако-

мая коричневая чашка с зубным протезом, а на стене тяжёлое бронзовое распятие. Отец, измождённый, с заострившимися чертами лица, лежал почти неподвижно. Конечно, это был он, мой горячо любимый папочка, который еще недавно, ползая на коленях, возил меня по комнатам, и которому мы с Лялей любили заплетать косички и завязывать бантики. И в то же время это был уже не он. Лицо, заросшее тёмной с проседью щетиной, глубоко запавшие глаза, в которых вместо обычного тепла, ласки и любви теперь мерцали тоска и отчаяние. И руки! Еще недавно такие умные и добрые, помогавшие мне мастерить незатейливые игрушки, а иногда справедливо наказывавшие меня, они лежали теперь поверх одеяла, такие худые и бессильные.

Я стоял, стараясь не смотреть на родного, но пугающего меня человека. Глаза мне щипали подступающие слезы, и я чувствовал, что, несмотря на строгие мамины предупреждения, вот-вот разревусь.

С этого дня в доме все разговаривали шепотом, двери прикрывали медленно, стараясь не стучать. Пахло лекарствами. Мама, Эрночка и Лиза ходили с заплаканными глазами. Чаше обычного приходили родственники, знакомые и незнакомые люди и о чем-то шептались на кухне. Почти ежедневно приходил патер Баумтрог.

В последние дни папочку охватило смутное беспокойство. Он начал куда-то собираться, просил, чтобы подготовили одежду. По его настоянию кровать перенесли в гостиную и поставили в центре. Розовые плафоны люстры сменили на голубые. На другой день по просьбе папы Петя побрил его. Ему было, наверное, очень больно, и слезы текли у него из глаз. По окончании бритья, - вспоминает Петя, - он схватил мою руку, поцеловал её и шепнул:

– Петя, береги Эрночку, она добрейшая душа.

14 декабря папочке вдруг стало лучше. Он о чём-то говорил с нами, гладил нас с Лялей по голове, просил быть честными и помогать маме. Потом попросил кофе и свое любимое блюдо - пирог, посыпанный сдобными крошками (рибелькухен). Теперь я знаю, что это признак близкого конца, но тогда я страшно обрадовался, думая, что теперь он поправится. Но радость была мимолетной. Увидев сосредоточенные лица старших, я испугался и притих.

К вечеру отцу стало хуже. Эрночка побежала за врачом. Пришел патер Баумтрог и нас увели из комнаты. Очевидно, шел обряд причащения. С каждой минутой ему становилось все хуже. Он метался на кровати и кого-то звал. Нас с Лялей подвели к папочке. У изголовья стоял патер, рядом мама, дядя Карлуша, тётя Матильда, Лиза. Папочка, взглянув на нас, попытался поднять голову и что-то ска-

зять, но тут же уронил её на подушку. Потом сделал три глубоких вдоха, содрогнулся всем телом и затих. Кто-то громко закричал, с кем-то началась истерика. Меня отвели в спальню и уложили в кровать. Я съёжился в комок и закрылся с головой одеялом. Мелкая дрожь била меня.